

Научная статья

УДК 821.161.1

doi: 10.17223/19986645/77/7

**А.В. Никитенко – читатель и критик романа А.И. Герцена
«Кто виноват?» (по материалам библиотеки профессора)**

Иван Олегович Волков¹, Эмма Михайловна Жилиякова²

^{1,2} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *wolkoviv@gmail.com*

² *emmaluk@yandex.ru*

Аннотация. На материале библиотеки А.В. Никитенко разрабатывается проблема восприятия критиком и цензором творчества А.И. Герцена. Исследуются пометы, оставленные на страницах отдельного издания романа «Кто виноват?» (1847). Реконструкция читательской рефлексии предваряется разбором «Писем об изучении природы», подаренных Никитенко лично автором (с инскриптом) и также содержащих следы внимательного изучения. Совокупный анализ помет позволяет сделать вывод о философском и эстетическом единомыслии критика с Герценом в 1840-е гг.

Ключевые слова: А.В. Никитенко, А.И. Герцен, «Кто виноват?», «Письма об изучении природы», библиотека профессора

Источник финансирования: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00443 «Личная библиотека А.В. Никитенко как “летопись русской литературы”».

Для цитирования: Волков И.О., Жилиякова Э.М. А.В. Никитенко – читатель и критик романа А.И. Герцена «Кто виноват?» (по материалам библиотеки профессора) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2022. № 77. С. 145–168. doi: 10.17223/19986645/77/7

Original article

doi: 10.17223/19986645/77/7

**Aleksandr Nikitenko as a reader and critic of the novel
Who Is to Blame? by Alexander Herzen
(On the material of the professor's library)**

Ivan O. Volkov¹, Emma M. Zhilyakova²

^{1,2} *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *wolkoviv@gmail.com*

² *emmaluk@yandex.ru*

Abstract. Based on the material of Aleksandr Nikitenko's library, the article explores the problem of his reader's and critical perception of Alexander Herzen's

literary works. Nikitenko's marks (by pencil and by nail) on the pages of the novel *Who Is to Blame?* are analyzed. Reconstruction of the reader's reflection is preceded by the analysis of *Letters about the Study of Nature*, which Herzen presented to Nikitenko personally (with an inscription) and which also contain traces of a careful study on their pages. Nikitenko met Herzen in October 1846 and highly appreciated his first efforts. An enthusiastic attitude towards his works persisted until the writer's emigration, after which a period of sharp rejection began (because of revolutionary propaganda). However, the critic's mind forever preserved the image of Herzen as a public figure of the 1840s, which was largely facilitated by the novel *Who Is to Blame?* that Nikitenko perceived with deep sympathy and understanding, as shown by the content and logic of his marks. Nikitenko's perception of the novel was prepared by his reading *Letters about the Study of Nature*: marks in the book reveal the critic's philosophical like-mindedness with the author (the latter aimed to reconcile the opposites and unite them into a common goal of developing knowledge). In *Who Is to Blame?*, the critic saw the fulfilment of these Herzen's aspirations to clarify the essence of human contradictions, to explain them historically and from the standpoint of modern society. The notes in the novel testify to Nikitenko's attention mainly to two elements: the principles of artistic modelling and the problematics of the image of the protagonist. In the first part of the novel, Nikitenko marks the complex historical and philosophical nature of Herzen's talent, namely, the biographical method of selecting material. Nikitenko refers to the law of artistic typification formulated by Herzen, which is carried out in two aspects: the generalization of ordinary material (the orientations of the "natural school") and the principle of historicism based on the relationship between the individual and society. Emphasizing and commenting on Herzen's thought about the people of the era, in his reading, Nikitenko follows one "extraordinary personality" – Vladimir Beltov. In Beltov, Nikitenko sees a hero of the time, possessing a "thirst for activity", but not finding his calling. In this extraordinary interest in Beltov, Nikitenko showed the features of his romantic idealism: appreciating, in the author's manner of Herzen, the predominantly "superfluous person", who reflected the fate of the history of a generation in the drama. At the same time, Nikitenko, in line with his interest, was attentive to the female image, which played an exceptional role in the formation of the "Russian mind". He examined in detail Krut'sferskaya's diary as a kind of a socio-psychological novel about the fate of characters awakened to a new life and perishing in the conditions of Russian reality. This way, Nikitenko seemed to foresee the appearance of Turgenev's great prose.

Keywords: Aleksandr Nikitenko, Alexander Herzen, *Who Is to Blame?*, *Letters about the Study of Nature*, professor's library

Financing: The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20-012-00443.

For citation: Volkov, I.O. & Zhilyakova, E.M. (2022) Aleksandr Nikitenko as a reader and critic of the novel *Who Is to Blame?* by Alexander Herzen (On the material of the professor's library). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 77. pp. 145–168. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/77/7

Личное знакомство А.В. Никитенко с А.И. Герценом произошло в начале октября 1846 г. в контексте организации нового периодического издания, которым вскоре стал купленный Н.А. Некрасовым и И.И. Панае-

вым «Современник». Для журнала требовался влиятельный официальный редактор, чье имя хотя бы на первое время обеспечило его успешное становление и развитие, особенно это касалось прохождения цензуры. Уважаемый петербургский профессор и известный критик, допустивший несколькими годами ранее публикацию «Мёртвых душ», идеально подходил на эту роль. О предстоящей встрече с Никитенко по делу «Современника» Герцен сообщал жене («дело идет хорошо, я увижусь <с> Никитенкой») [1. С. 258] и уже после писал ей 8 октября 1846 г.: «Вчера был у Никитенко; он удивительно добрый и благородный человек, меня принял с откровенными объятиями. Вообще я и не предполагал, что мои статьи имеют здесь и тот ход и ту известность» [1. С. 261]. Герценовские статьи были действительно хорошо известны Никитенко, который еще до очного знакомства писал, что их автор обладает «глубоким знанием предмета», «диалектическим искусством», «взглядом на вещи, склоняющимся, всегда к живым и великим интересам человечества, взглядом одинаково чуждым и пошлых применений и многосторонних, но пустых отвлечённостей» [2. С. 51]. Такая высокая оценка, однако, спустя десятилетие сменилась на прямо противоположную. Эмиграцию Герцена и произошедшую в связи с ней перемену его взглядов Никитенко категорически не принял. При всем интересе критика к содержанию «Колокола», чтение которого он попеременно фиксирует в своем дневнике, его отношение к редактору стремительно движется в отрицательной градации: от разочарования («Жаль, он мог бы быть очень полезен») [3. Т. 2. С. 41] до открытого неприятия и осуждения («поступает и нечестно и гадко») [3. Т. 2. С. 241]. Довершением стала поддержка Герценом польского восстания, после чего Никитенко становится беспощаден к «беглому апостолу революции» [3. Т. 2. С. 279]. И только кончина Герцена несколько примиряет с ним Никитенко, отметившего в дневнике чтение посвященного ему некролога – «несколько недурных слов» [3. Т. 3. С. 165] в «Санкт-Петербургских ведомостях». Хотя газета высказалась о нем достаточно скромно, однако с ее страниц прозвучали слова: «По силе и величине своего дарования, по обширности образования научного и художественного, по энергии и глубине мысли, Герцен представляет выдающееся явление» [4]. Он был поставлен в один ряд с Н.В. Гоголем, В.Г. Белинским, Т.Н. Грановским, И.С. Тургеневым и назван «главнейшим выразителем широкого и плодотворного умственного движения, подготовившего общество ко многим преобразованиям нашего времени» [4]. То, что Никитенко едва заметно, но все-таки выразил свое согласие с этим отзывом, говорит о глубоком сохранении в памяти (несмотря на сложность последующего отношения) герценовского образа именно 1840-х гг., так восхищавшего его.

Дополнить и расширить картину восприятия Никитенко творчества Герцена до отъезда из России, установить дополнительные точки эстетического и идеологического схождения двух выдающихся деятелей в новый для русской литературы период, углубить представления о собственной концепции Никитенко, уточнить особенности его философских, обще-

ственных и эстетических взглядов помогают материалы личной библиотеки профессора.

В составе книжной коллекции Никитенко, хранящейся в Отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ), находятся два экземпляра под авторством Герцена. Во-первых, это «Письма об изучении природы» [5], представляющие собой специально переплетенные в единый блок оттиски из «Отечественных записок» 1845–1846 гг. с дарственной подписью; во-вторых, отдельное издание романа «Кто виноват?» 1847 г. [6]. На страницах обеих книг присутствуют следы внимательного чтения – подчеркивания и отчеркивания, записи и исправления, принадлежащие Никитенко.

О своем согласии стать редактором «Современника» и знакомстве с Герценом Никитенко сделал запись в дневнике, помеченную (вероятно, ошибочно¹) 12 октября 1846 г.: «Некоторые из московских литераторов, в лице И.И. Панаева, предложили мне быть редактором журнала, который хотят купить у кого-нибудь из нынешних владельцев журнала. Покупается “Современник”. Я согласился. <...> Третьего дня я познакомился с <А.И.> Герценом. Он был у меня. Замечательный человек» [3. Т. 1. С. 298]. На второй день после этого посещения Герцен снова явился к критику и преподнес ему свой философский труд, сопроводив дар надписью: «В знак искреннего уважения от А. Герцена. 1846. Октября 9».

Именем Никитенко в качестве первого редактора «Современника» особенно дорожил Белинский, и не только по формальным причинам. Он старался найти в профессоре единомышленника, при этом, конечно, не заблуждаясь относительно разности с ним во взглядах. В статье «Ответ “Москвитянину”» он писал, что Никитенко «признает и талант и достоинство в произведениях натуральной школы, но признает их не безусловно, хвалит основание, но порицает крайности», «нападает местами на недостатки <...> состоящие в преувеличении и однообразии предметов» [7. Т. 8. С. 302]. Именно о «преувеличении и однообразии» в современной литературе, которая хвалится, «что в последнее время она сделалась чрезвычайно нравоописательною и *общество-отразительною*» [2. С. 19], говорил Никитенко еще в рецензии на «Петербургский сборник». Годом позже в статье «О современном направлении в русской литературе» он снова, но уже в более мягких выражениях указывает на то, что «мы бросаемся на частности, не связывая их с характером и духом целого» [8. С. 70].

Белинский, принимая и отчасти признавая критику нового редактора «Современника» по отношению к «натуральной школе» («он уважает и любит ее, и на этом-то основании желает указать ей ее настоящую дорогу» [7. Т. 7. С. 302]), ранее очень точно указал на особенности теоретико-

¹ Герцен 8 октября сообщал жене об уже состоявшемся знакомстве с Никитенко. И.Я. Айзеншток в комментариях к дневнику объясняет такую путаницу в датах погрешностью С.А. Никитенко, дочери критика, которая объединяла отцовские записи нескольких дней и переписывала их.

философского взгляда Никитенко на литературу, с которым связана сущность его общественной и эстетической позиции: «...счастливо автор успел избежать двух крайностей, которые для писателей бывают Сциллою и Харибдою, – успел избежать одностороннего идеализма, гордо отвергающего изучение фактов, и одностороннего эмпиризма, который дорожит только мертвою буквою...» [7. Т. 7. С. 302]. Таким образом Белинский обозначил диалектизм Никитенко, его стремление выстроить для русской литературы путь эстетического синтеза, основанного на соединении действительности и идеала. Еще во вступительной лекции 1833 г. профессор выдвинул тезис о том, что «человек, пребывая одною стороною своей Природы в мире действительном, другою принадлежит идеальному» [9. С. 20]. Спустя четыре десятилетия он углубит и объемно выразит свою идею в итоговой статье «Мысли о реализме в русской литературе» (1872), утверждая «единство вещей», «целостность всего существующего», которая складывается из двух начал («противоположных сторон жизни») [10. С. 543] – реального и идеального и находит непосредственное отражение в искусстве [11. С. 13].

То, что в библиотеке Никитенко и в его чтении «Письма об изучении природы» оказались рядом с романом «Кто виноват?» и предшествовали ему, более чем закономерно. В философском сочинении, продолжающем проблематику «Дилетантизма в науке» (1843), Герцен разрабатывает противопоставление философии и естествознания, которое в конечном итоге выливается в необходимость их связи и взаимопроникновения. Эта идея синтеза, отвечающая взглядам Никитенко и условно соответствующая в его координатах соединению идеализма и реализма, получает в «Кто виноват?» своеобразное «сюжетное бытие, воплощаясь в основных персонажах романа» [12. С. 127].

Пометы, сделанные критиком на страницах «Писем об изучении природы», немногочисленны и сосредоточены в основном в пределах первых трех текстов. Их логика и содержание в целом подтверждают высказанную Белинским характеристику Никитенко. В первом письме, «Эмпирия и идеализм», внимание читателя сосредоточено на центральном вопросе, поднимаемом автором, – об «отношении знания к предмету, мышления к бытию, человека к природе»¹ [5. С. 5]. Обращаясь к проблеме познания и его методам, Никитенко подчеркивает карандашом формулу: «голос вопиющего разума – голос самой nature rerum [природы вещей]» [5. С. 4], которая иллюстрирует авторскую мысль о бесконечной пытливости человеческого разума. В том же русле он подчеркивает сравнение с тенью шекспировского Банко [5. С. 5], которое метафорически указывает на ошибочность «предположения невозможности знания» (т.е. его ограниченности или пределах для человека).

В своих рассуждениях Герцен движется к отысканию единства в методах эмпириков и идеалистов. «Наращение фактов и углубление в смысл, –

¹ Здесь и далее подчеркивания отражают пометы, сделанные А.В. Никитенко.

пишет он, – нисколько не противоречат друг другу» [5. С. 15]. Союз философии и естествознания, по Герцену, обусловлен самой жизнью: «Все живое, развиваясь, растет по двум направлениям: оно увеличивается в объеме и в то же время сосредотачивается» [5. С. 15]. Таким же живым организмом он называет и науку. Заявленная им необходимость равного и деятельного взаимодействия двух теорий познания находит важные точки пересечения с положениями статьи Никитенко 1837 г. «Речь о необходимости теоретического или философского исследования литературы». В ней прозвучала критика исключительно исторического (т.е. фактического) подхода в рассмотрении словесности («...нет в произведениях <...> эстетической стороны, а существует один только факт?») [10. С. 533]. Теория же, по мнению Никитенко, вносит в изучение литературы свойство универсального: «Наука философски может объяснить общий характер изящного произведения – и это одна из важнейших задач, принадлежащих ее решению» [10. С. 541]. Его выводом, как позднее и у Герцена, звучит насущная потребность (исходящая из самой природы «человеческого духа») в «соединении умозрения и опыта, Философии с Историей» [10. С. 541]. Подобные же мысли Никитенко развивает в своем дневнике (запись от 13 апреля 1847 г.): «Допускать в образовании один исторический и прикладной метод, без духа философского и теоретического, значит отдавать человека на жертву случайности и потоку времен; значит уничтожать в нем всякий порыв к лучшему, всякое доверие к высшим, непреложным истинам. Погасите в людях стремление к идеальному, выражением которому служит разум с его общими понятиями, – и вы увидите их погрязшими в материальных и в своекорыстных побуждениях настоящего» [3. Т. 1. С. 302–303].

Во время чтения первого письма Никитенко останавливается на найденных Герценом «ошибках» в противоположных друг другу направлениях познания. Сначала выделяет односторонность эмпириков (естествоиспытателей), подчеркивая ногтем словосочетание «чувственная достоверность» (как критерий истины, вместо разума) и подчеркивая карандашом слова о свойственном им пренебрежении всякой структурой: «...до того бояться систематического учения» [5. С. 5] – напротив этих слов на полях дополнительно поставлен восклицательный знак. Затем он двумя полукруглыми чертами также на полях отмечает критику идеализма: «...идеализм делается недоступен ничему, кроме своей *idée fixe*, он не уважает настолько фактический мир, чтобы покоряться его возражениям» [5. С. 20]. До этого Никитенко закономерно остановил свое внимание на И.В. Гёте («поэте-мыслителе и мыслителе-поэте»), который смог осуществить синтез эмпирии и философии, т.е. определил «истину единством бытия и мышления» [5. С. 19] – абзац, завершающийся этой мыслью, подчеркнут ногтевой линией в форме буквы «Z».

Обращаясь к Гёте, совершившем настоящий переворот, Никитенко выделяет и противопоставленного ему Ф. Шеллинга: карандашом подчеркнуто определение, данное философу, – «vates [прорицатель] науки» [5. С. 19].

Герцен далее поясняет и развивает это наименование, говоря, что Шеллинг «считал себя по превосходству философскою, спекулятивною натурою и потому живое свое сочувствие и предведение старался заморить схоластическою формою; он победил в себе идеализм не на деле, а только на словах» [5. С. 19]. Чтобы еще сильнее проявить несостоявшийся поворот Шеллинга от идеализма к «примирению противоположностей», автор сравнивает его с Наполеоном, который также «остался в душе человеком прошедшего» [5. С. 21]. Никитенко подхватывает эту параллель, останавливаясь на приводимом Герценом (из Э. Кине) примечательном сопоставлении немецкой философии с французской революцией: «Кант-Мирабо, Фихте-Робеспьер и Шеллинг-Наполеон» [5. С. 21].

В русле мысли об иллюзорности философского синтеза («сочетания науки мышления с положительными науками») [5. С. 23] автор «Писем...» приводит в пример еще одно имя – Г. Гегеля, пытавшегося выстроить стройную систему перехода от отвлеченного к конкретному. И Никитенко подчеркивает авторскую оценку Гегеля в связи с его шагами в практическом применении законов логики к бытию: «Но Гегель хотел природу и историю как прикладную логику, а не логику как отвлеченную разумность природы и истории» [5. С. 22]. Герценовская критика идеализма Гегеля продолжается в третьем письме, и Никитенко следует за ней. Он обращается к примечанию автора, в котором тот говорит, что главным для него источником по философии древности послужили гегелевские «Лекции», но при этом делает оговорку: «Я во многих случаях не хотел повторять чисто абстрактных и пропитанных идеализмом мнений германского философа, тем более что в этих случаях он был неверен себе и платил дань своему веку» [5. С. 5].

Второе письмо – «Наука и природа, – феноменология мышления», – как и первое, посвящено общетеоретическим аспектам, предворяющим знакомство читателя с этапами становления философского знания. В начале письма Герцен обращается к определению сущности науки. Никитенко в нем подчеркивает карандашом два ключевых положения, согласующихся с его собственной точкой зрения: «Дело науки – возведение всего сущего в мысль» [5. С. 23] и «разум природы только в ее существовании» [5. С. 28]. В том же месте, где Герцен утверждает активную роль человеческого разума и потребность знания, поставлен знак «NB» и подчеркнута финальная фраза в предложении: «Темное сочувствие и чисто практическое отношение – недостаточны мыслящей натуре человека; он – как растение: куда его ни посади, все обернется к свету и потянется к нему; но он тем не похож на растение, что оно тянется и никогда не может достигнуть до желанной цели, потому что солнце вне его, а разум человека, освещающий его внутри, и ему собственно не тянуться надобно, а сосредоточиться» [5. С. 32]. «Сосредоточиться» – это, по логике автора, прийти к «обобщению себя», «сознанию своего тождества с собою, снятия души и тела, как противоположных, единством личности» [5. С. 32]. В этой мысли Никитенко нашел связь со своей теорией гармонического синтеза, основой которой выступал «принцип высших обобщений»: «то, что мы видим разрознен-

ным в действительности, является соединенным в идее». «Согласование объективного начала с субъективным» критик признавал не только за способ «разумного объяснения» для человека действительного мира, но и «смысл и закон всякого существования» [11. С. 12–13].

В третьем письме – «Греческая философия» – Герцен рассуждает о стремлении человека к постижению истины: «Пробужденное сознание останавливается пред природой и ищет подчинить ее многообразие единству, чему-нибудь всеобщему, царящему над частным» [5. С. 5]. Никитенко, вчитываясь в теоретические построения автора, выделяет в них три тезиса: «мышление было бы ненужно, если б были готовые истины», «развитие истины составляет ее организм, без которого она недействительна» и «истина... достигает... полноты рядом самоопределений, непрерывно углубляющихся в разум предмета» [5. С. 5–6]. Совокупное содержание этих положений согласуется с признанием критиком истины в качестве «верховой цели науки» [11. С. 15]. Эквивалентом такого главного ориентира в изящной словесности он считает прекрасное. Средство достижения высшего результата и открытия сокровенного смысла, по его мнению, находится в разработке внутренней стороны изображаемого предмета, проникновении в его глубину.

На страницах, посвященных анализу философии Гераклита, где автор говорит о вечном и равносильном существовании двух противоположных, но взаимозависимых моментов – бытия и небытия, Никитенко делает запись на полях: *«Жизнь живет, имя сохраняет себя посредством смерти»*. Это реакция на герценовское утверждение о том, что «животный организм представляет постоянную борьбу с смертью, которая всякий раз восторжествует» [5. С. 12]. Таким образом он словно оспаривает авторский прагматизм и унификацию, противопоставляя им явление человеческой личности, чья жизнь действительно скоротечна и конечна, но она с помощью имени сохраняет себя через прошедшее в будущем. При этом Никитенко не дает прямой антитезы «материальное» (земное) и «духовное» (небесное), хотя явно ее подразумевает, и выходит к понятию бессмертия от противоположного. Тем не менее именно заданная Герценом мысль о двуединстве каждого явления была философским основанием эстетики синтеза Никитенко. Такое философское отношение к жизни, понимание, что она представляет собой явление, характеризующееся диалектическим единством постоянно борющихся противоречий, и становится объектом научного исследования, определило позицию критика как мыслителя и проявило себя в характере чтения и восприятия им романа Герцена «Кто виноват?».

Последующие пометы Никитенко рассыпаны по нескольким «Письмам...» вплоть до финального («Реализм»), но общая логика их содержания сохраняется – акцентируется внимание на все тех же моментах отношения «мышления к бытию, к предмету, к истине вообще» («Письмо шестое») [5. С. 21], взаимодействия мысли и опыта. Вчитываясь в выстроенный Герценом краткий обзор философских эпох, он останавливается на

деятельности Ф. Бэкона, П. Гассенди, И. Ньютона, Г.В. Лейбница, Б. Спинозы. Первому он в своем движущемся интересе отдал явное предпочтение, соглашаясь с той высокой оценкой, что вынес ему автор («...как Колумб, открыл в науке новый мир») («Письмо седьмое») [5. С. 10]. Никитенко подчеркивает те места и ставит знак «NB» там, где Герцен защищает английского философа от приписываемого ему строгого эмпиризма, например: «Эмпирия Бэкона проникнута, оживлена мыслию – это всего менее оценили в нем» или «он сам был далек от грубой эмпирии» («Письмо седьмое») [5. С. 5]. Наконец, самое пристальное его внимание привлекло рассуждение автора о математике. Почти вся страница, на которой развернулось описание связи математики с естествознанием, заполнена карандашными подчёркиваниями и отчеркиваниями – главным образом это коснулось возникшего соотношения качества и количества. Итогом рефлексии Никитенко стал ряд восклицательных знаков, относящийся к словам о единстве «сложных процессов жизни» («Письмо седьмое») [5. С. 12].

Пометы на романе «Кто виноват?» свидетельствуют о внимании Никитенко преимущественно к двум элементам, связанным с поэтикой и эстетикой произведения. Во-первых, его интересуют принципы художественного моделирования, использованные Герценом, и во-вторых, проблематика образа главного героя в его взаимосвязи с общественно-историческими условиями.

В первой части романа Никитенко отмечает сложную историко-философскую природу таланта Герцена. Косой ногтевой чертой он выделяет начало четвертой главы, которая открывается жизнеописанием родителей Бельтова. И далее вертикальной волнистой линией на полях обособлен целый абзац о биографическом способе отбора материала, а одни из последних строк этого отрывка подчеркнуты и отмечены на полях волнистой линией:

«...меня ужасно занимают биографии всех встречающихся мне лиц. Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна, – это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли – куда вынесет! Если б можно было, я составил бы биографический словарь, по азбучному порядку, всех, например, бреющих бороду, сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописания ученых, литераторов, художников, отличившихся воинов, государственных людей, вообще людей, занятых общими интересами: их жизнь однообразна, скучна; успехи, таланты, гонения, рукоплескания, кабинетная жизнь вне дома, смерть на полдороге, бедность в старости, – ничего своего, а все принадлежащее эпохе. Вот поэтому-то я нисколько не избегаю биографических отступлений: они раскрывают всю роскошь мироздания» [6. С. 82].

Никитенко пронизательно отмечает сформулированный Герценом закон художественной типизации, осуществляемый в двух аспектах: с одной стороны, обобщение обыкновенного, даже низкого материала – в соответствии с установкой «натуральной школы», с другой стороны, принцип ис-

торизма, основанный на соотношении личности и общества (в широком смысле): «ничего своего, а все принадлежащее эпохе». Подчеркнутым словам критик дополнительно дает на полях собственный комментарий: *«Оригинальная и вместе с тем глубоко истинная мысль»*. Интерес Герцена к неизвестным людям вытекает из его историософской концепции: «чем мельче человек, тем легче ему ускользнуть из ее [действительности] сетей, тем больше в нем своего, неискаженного и неизуродованного временем» [13. С. 267]. В рецензии на «Петербургский сборник» в связи с разбором романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» Никитенко также прибегает к категории обыкновенного. Он приводит положения «не громкие и не эффектные, которым нет места ни на театре, ни в истории» и которые происходят «в глухой тишине» [2. С. 22]. При этом, рассматривая их на примере героев Достоевского с этической точки зрения, критик дает им оценку как преимущественно страдательным: «здесь встречается глубокое, безмолвное страдание, или судорожные трепетания неудовлетворенной мысли и чувств» [2. С. 23]. Никитенко предельно близок к логике Белинского, который в «ряде биографий, мастерски написанных», как он определил герценовский роман, увидел одну изнутри связующую мысль – «страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла» [7. Т. 10. С. 323].

Подчеркивая и комментируя мысль Герцена о людях эпохи, Никитенко далее в своем чтении следует именно и исключительно за «необыкновенной личностью» – Владимиром Бельтовым. В отличие от Белинского, посчитавшего, что в романе нет героя (лишь «бездна лиц») [7. Т. 10. С. 320], профессор в образе этой «гениальной натуры» находит центр всего изображения. На первый взгляд его можно обвинить в некоторой критической односторонности, поскольку он также оставляет практически без внимания развернутую далее Герценом типизацию на материале обыкновенного. Но такой вывод нельзя делать слишком однозначно на общем фоне помет Никитенко и нравственно-философской проблематики романа, которую Белинский очень точно обозначил как гуманность [7. Т. 10. С. 320]. В «Кто виноват?» оба критика нашли своеобразное воплощение своих концепций: для Белинского – это идея изображения достоверной действительности в гуманистическом ключе, для Никитенко – двусторонний анализ с преобладанием идеального (поэтического) начала. Лишь одна помета в романе обращена к миру прозы – не без определенного смысла подчеркнуто состояние одного из мелких чиновников, которого начальник, Осип Евсеич, угостил крепким нюхательным табачком:

«Попробуйте-ка, Василий Васильевич, ворошатинского; приятель привез из Владимира.

– Славный табак! – возразил помощник чрез минуту, которую он провел между жизнью и смертью, нюхнув большую шепотку сухой светлостеленой пыли» [6. С. 103].

В описании незначительного момента канцелярского быта Герцен включил лексический оборот высокого, любимого романтиками стиля,

придав всей сцене комический эффект. Но комическое, с авторской позиции, одновременно содержит в себе и драматическое – нищета интересов и представлений ординарных чиновников, а потому этот эпизод «жизни людей обыкновенных» тоже мог бы составить отдельный материал для картины большой истории. Здесь и во всем романе Никитенко увидел ту силу художественного обобщения (анализ предмета «в стихиях его и отношениях многосторонних») [2. С. 21], на которой он так активно настаивал. Двусторонность продемонстрированного Герценом анализа русской действительности очень точно определил Белинский: в романе «Кто виноват?» «люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости» [7. Т. 10. С. 325]. Никитенко почувствовал «заступничество Герцена за человеческую природу» [13. С. 265] даже в тех героях, что показаны им «с грубой материальной стороны» [8. С. 67]. Но именно то, что этих сторон изображения оказалось больше чем одна, должно было встретить согласный и сочувствующий взгляд критика, настаивавшего на наличии второго плана, «где нравственный и общественный... характер должен быть понят и изучен с иной точки зрения» [8. С. 62]. Ярким примером того, как Герцен избежал «бессмысленного материализма», для Никитенко стал образ Негрова, в котором «могли быть хорошие возможности», но в результате – «задавленные жизнью и погубленные ею» [6. С. 41].

Однако поиски материала среди «необыкновенных личностей» характеризуют позицию Никитенко как романтический идеализм. В романе «Кто виноват?» фигурой такого склада ему закономерно представился Владимир Бельтов. Показательно уже то, что в пятой главе первой части Никитенко, пропуская картину приготовлений к выборам в «губернском городе NN» и разговор советника с председателем, отмечает появление Бельтова в доме последнего. Он делает это, перечеркивая часть текста, чтобы убрать с первого плана председателя и сосредоточить все внимание на облике главного героя, сходного с лермонтовским Печориным:

«Герой нашего времени»

С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское... Они (карие глаза. – И.В., Э.Ж.) смеялись, когда он не смеялся! ... Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражением жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный... [14. С. 50].

«Кто виноват?»

Человек лет тридцати, прилично и просто одетый, вошел, учтиво кланяясь хозяину. Он был строен, худощав, и в лице его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмешливыми губами, выражение порядочного человека с выражением баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей, которые, кажется, не обуздывались [6. С. 78].

Эта связь двух героев была отмечена и Белинским, однако не в пользу Бельтова. Критик увидел неестественность и несоразмерность в том, какую эволюцию проходит герценовский герой – вначале «жаждавший полезной деятельности» и совершенно не знавший «общественной среды», а затем превратившийся вдруг в «гениальную натуру, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща...» [7. Т. 10. С. 322]. Никитенко же такую градацию принял сочувственно, а ассоциация с Печориным была для него более чем органичной. Он увидел в Бельтове ту же «историю души человеческой», то же «следствие наблюдений ума зрелого над самим собою» [14. С. 55].

Герцен запечатлел судьбу человека, главной жизненной целью которого была общественно-политическая деятельность – «участие в текущих делах, в этой воочию совершающейся истории» [6. С. 108]. В своем страстном стремлении Бельтов «испортил себя для всех других областей» [6. С. 108], и Никитенко отмечает его метания из одной сферы в другую и мучительную неудовлетворенность, которые автор приводит к общему знаменателю – «симптомам» эпохи: «...внесет гражданский спор в искусство, он мысль свою нарисует, если будет живописец, пропоет, если будет музыкант. Переходя в другую сферу, он будет себя обманывать, так как человек, оставляющий свою родину, старается уверить себя, что его родина везде, где он полезен, – старается... а внутри его неотвязный голос зовет в другое место и напоминает иные песни, иную природу» [6. С. 109].

Следя за процессом поражения героя, Никитенко старается отыскать причины его несостоятельности. Так, на странице, описывающей окончание «служебного поприща доброго приятеля нашего, Владимира Петровича Бельтова», он делает одно небольшое стилистическое исправление в тексте: предлог «въ» меняет на «во». Такую правку вполне можно было бы отнести к простому цензорскому педантизму, если бы не значение слов, управляемых этим предлогом: «*во влияниях и соприкосновениях*» [6. С. 106]. Именно в этих обстоятельствах общего характера, проигнорированных героем, призывает автор искать решение сложившегося для Бельтова противоречия, и критик своей реакцией выражает полное согласие. Внимательно вчитываясь в текст, он усваивает и прежде выведенную Герценом своеобразную формулу романтической антиномии, приобретающей афористическое свойство:

Что же делал Бельтов в продолжение этих десяти лет?
Все или почти все.
Что он сделал?
Ничего или почти ничего [6. С. 106].

Другой причиной драматического положения героя оказывается окружающая его среда, которую он не понимает и которая его не принимает. Бельтов втягивает себя в противостояние с русской бюрократией, провинциальной жизнью, губернским обществом – и в этом равновесном кон-

фликте мечты и реальности Никитенко выделяет красноречивую характеристику, показывающую, на чьей стороне лежат симпатии Герцена (хотя не безусловные): «Бельтов – протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок её» [6. С. 128] и «вообще изъяснялся слишком вольно» [6. С. 128]. Негодующий, исполненный иронии пафос автора в отношении русской официальной жизни соответствовал настроениям критика. В своем дневнике он 21 октября 1845 г. с горечью записывает:

«Я начинаю думать, что 12-й год не существовал действительно, что это – мечта или вымысел. Он не оставил никаких следов в нашем народном духе, не заронил в нас ни капли гордости, самосознания, уважения к самим себе, не дал нам никаких общественных благ, плодов мира и тишины. Странный гнет, безусловное раболепство – вот что Россия пожала на этой кровавой ниве, на котором другие народы обрели богатство прав и самосознания? <...> Ужас, ужас, ужас!» [3. Т. 1. С. 294].

Ирония Герцена, которой так дорожил Белинский и которая берет свое начало в комизме Н.В. Гоголя, приводит Никитенко, например, к описанию обитателей провинциального города и встречающихся в их жизни несутрастей: лакеи «здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря: “С прошедшим праздничком”, причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастье ежедневно подсаживать генерала в карету» [6. С. 123].

Венцом характеристики окружающей Бельтова враждебной среды в направлении читательской рефлексии Никитенко становится собирательная метафора, родственная телемахидовскому эпиграфу к «Путешествию из Петербурга в Москву»: «...все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови, неречистого, уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом и что его не только не собьешь с ног обыкновенной пращей, но и гранитным утесом, стоящим под монументом Петра I» [6. С. 125]. Так же, как и у А.Н. Радищева, здесь нарисован образ ужасного существа (но не мифологического, а вполне конкретного) огромной незыблемой силы, воплощающего собой порочную сущность современной автору российской действительности. Но аллегория нужна Герцену не просто как яркий символ обезличенной бюрократической массы, а прежде всего в качестве объективного препятствия, встающего на пути героя. И Никитенко отнесся к такому объяснению со всем пониманием.

Обращается взор критика и к еще одной надличностной причине, не позволяющей Бельтову действовать при всем душевном его порыве и готовности, – отсутствию самого смысла к практической активности. Никитенко отмечает рассуждение Герцена о том, что в России не сформирована еще великая традиция служения своему Отечеству и народу. Он подчеркивает обобщенную характеристику героя в его непосредственной зависимости от давления времени и общенациональных свойств личности: «Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно

передано дело: он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтоб не расплыться, – и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь – иди, куда хочешь, во все стороны – воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень» [б. С. 126–127].

Однако, принимая аргумент Герцена, как бы несколько оправдывающий Бельтова, Никитенко не спешит видеть в герое лишь жертву века. Выше отмеченного абзаца он в таком же сосредоточенном внимании подчёркивает снисходительное авторское признание: «...а затем в действительности оставались только места праздношатающихся, игроков и кутящей братии вообще; к чести нашего героя должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться: он был слишком развит, а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб» [б. С. 126].

Составляя портрет поколения, страдающего от бездействия при избытке жажды деятельности, Никитенко причисляет к нему и свое время. Однако в логике предшествующего отрывка, в котором Герцен высказывается от второго лица («мы»), критик отмечает прямой линией на полях и другой гораздо больший фрагмент, где из уст уже самого героя звучит объяснение своей вынужденной остановки историческими обстоятельствами, требованием настоящего времени:

«Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготавливаются, а потребности на них определяются историей. Вы, верно, знаете, что в Москве всякое утро выходит толпа работников, поденщиков и наемных людей на вольное место; одних берут, и они идут работать; другие, долго ждавши, с понурыми головами плетутся домой, а всего чаще в кабак; точно так и во всех делах человеческих: кандидатов на все довольно – занадобится истории, она берет их; нет – их дело, как промаячить жизнь. Оттого-то это забавное â rgoros всех деятелей. Занадобились Франции полководцы – и пошли Дюмуре, Гош, Наполеон со своими маршалами... конца нет; пришли времена мирные – и о военных способностях ни слуху, ни духу.

– Но что же делается с остальными? – спросила грустным голосом Любовь Александровна.

– Как случится; часть их потухает и делается толпой, часть идет населять далекие страны, галеры, доставлять практику палачам; разумеется, не вдруг, – сначала они делаются трактирными удалцами, игроками, потом, смотря по призванию, туристами по большим дорогам или маленьким переулкам. Случится по дороге услышать клич – декорации переменяются: разбойника нет, а есть Ермак, покоритель Сибири. Всего реже выходят из них тихие, добрые люди; их беспокоят у домашнего очага едкие мысли. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него

нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце и надобно сидеть, сложа руки... а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна...» [6. С. 177].

Слово «развиваются» Никитенко не только подчеркнул, а еще и поставил рядом с ним вопрос: «*на чем?*», но потом убрал свое замечание, оставив лишь вопросительный знак; точно таким же образом он строкой ниже сначала сделал в скобках небольшую запись, а потом стер ее. Из рельефных очертаний, видимых за счет надавливания карандаша, можно различить: «*их направление*». То есть его особенно волновали истоки и логика развития потенциальной природы личности, которая ввиду своей попеременной востребованности может иметь как положительный, так и отрицательный результат. Рассуждения Бельтова, несколько смягчающие его вину в бездействии, но не облегчающие судьбу человека, наделенного огромными духовными силами, интересны и приемлемы для Никитенко с позиции объективной зависимости личности от истории, обстоятельств эпохи. Герцен связывал рождение новых сил в России с проявлением потребностей времени. Точно такую же зависимость устанавливал и Никитенко. В статье 1833 г. «О творящей силе в поэзии» он разрабатывает проблему Гения – «естественной, неподавленной мощи человеческого духа» [15. С. 3]. Само появление гениальной личности, по его мысли, подчинено исключительно Природе, которая «готовит материалы для нашего быта», а исполнением ею своего назначения располагает История, устремляющая «все явления к общим целям и благословляя на жизнь и бессмертие только то, что хорошо на своем месте» [15. С. 5]. «Людей гениальных является не более, как сколько их нужно для потребностей века» [15. С. 5] – исполнение этого закона Никитенко очень наглядно мог наблюдать на примере судьбы Владимира Бельтова. Кроме того, он, как и Герцен, возлагает на общество ответственность за воспитание выдающейся личности: оно должно ей покровительствовать, готовить «поприще и цель». При этом принципиальным моментом для Никитенко было то, что активность гения, востребованная историей, не находилась у нее в подчинении, более того – сам человек уже выходил на первый план и принимал на себя созидательную роль. В связи с этим профессор, например, осуждает избранную Л.Н. Толстым модель соотношения «гениальной натуры» и истории в «Войне и мире», настаивая на участии «разума и воли индивидуальных»: «...сам Наполеон оказывается у автора чем-то похожим на идиота» [11. С. 45]. Еще одним важным моментом расхождения в позициях Никитенко и Герцена было качественное развитие сил «гениальной натуры». Если последний находит для Бельтова отрицательный момент в том, что он сосредоточил все усилия только на пути к гражданской деятельности, т.е. сознательно себя ограничил и из-за этого не смог обратиться ни к чему другому, то второй, напротив, видел в такой односторонности необходимость и преимущество личности. По мнению Никитенко, сосредоточенность человека «в одной определенной идее» является той силой, «без коей нет могущества, нет гения» – «ее-то именно недостает людям обыкновен-

ным», чьи «стремления рассеиваются по разным направлениям, дробятся, <...> и наконец ослабленные сим разьединением, все они теряются в жизни без подвигов и блеска» [15. С. 3].

Изучение характера Бельтова как фигуры, которой предназначена историческая миссия, естественно дополняется у Никитенко (помимо собственных высказываний героя и авторского слова) материалом журнала Круциферской, представляющим анализ глубокой, скрытой жизни героев. Интерес критика к этому образу в романе закономерен еще и потому, что сам он отводил женщине особую роль в становлении и образовании личности. Так, в статье «О современном направлении русской литературы» (1847) он писал, что женщине «принадлежит почетное место в истории нашего ума», а ее влияние «на нравственный порядок вещей так могущественно, участие ее в процессах самого начинания наших верований, идей и чувствований так глубоко и неотразимо, что решение вопроса о состоянии образованности где-либо – вполнину заключается в ней» [8. С. 63]. По убеждению Никитенко, женщина, а, следовательно, и ее образ в литературе, есть воплощение идеального¹, «одушевления к прекрасному», главный участник «в событиях сердца» [8. С. 63–64]. Признавая за ней «долг гражданки» в качестве нравственной опоры общества, критик не случайно порицает писателей, допустивших искажение чистой и высокой натуры. Такому осуждению подвергается, например, Достоевский за образ Вареньки («Бедные люди»), в котором, по его мнению, нет «ни одной черты грациозной, ни одной позы с этой милой волнистой линией, по которой в женщине бежит электрическая искра к вашему сердцу» [2. С. 32], и И.А. Гончаров, роняющий «лучшие создания свои в самую глубь грязи», – «пленительные образы Веры и Бабушки» («Обрыв») [11. С. 49].

В романе «Кто виноват?» внутренний взгляд Круциферской, проявленный в ее записях – исповеди сердца, Никитенко усвоил как облагораживающий и возвышающий главного героя, чего категорически не принял Белинский. Не случайно еще прежде страниц журнала критик подчеркивает авторские слова об интуитивном угадывании и восприимчивости Круциферской своим чутким и глубоким чувством неразрешимой душевной драмы Бельтова: «Любовь Александровна смотрела на него с глубоким участием: в его груди, на его лице действительно выражалась тягостная пе-

¹ Ср. в рецензии на «Петербургский сборник»: «Это чудное создание, мягкое и упругое, розовое и пестрое, одетое тайною своего зиждительного назначения и являющее блеском расцветшего, венчающего и увенчанного бытия – это дивное слияние могущества и слабости – оно в одно время и глубоко, как жизнь и любовь, и тревожно, изменчиво как судьба жизни, как радость любви, которую оно же дарите то по прихоти, как дитя, то как ангел по натуре своей. В ее сердце, полном блаженства и слез, самоотверженности до уничтожения себя и эгоизма, до уничтожения всего, кроме своего чувства, уживаются страсти самые бурные, самые потрясающие, и нежнейшие ощущения, которые напомнили бы всегда человеку о небе, если бы ничто во вселенной уже не говорило ему об нем» [2. С. 43].

чаль» [6. С. 176]. Это замечание Герцена разворачивается в записи самой героини, выделенной Никитенко:

«Это человек, призванный на великое, необыкновенный человек; из его глаз светится гений. Та любовь и не нужна такому человеку. Что для него женщина? <...> ему нужна любовь иная. Он страдает, глубоко страдает, и нежная дружба к женщине могла бы облегчить эти страдания; ее он всегда найдет во мне, он слишком пламенно понимает эту дружбу, сверх того, он так не привык к вниманию, к симпатии; он всегда был одинок, душа его, огорченная, озлобленная, вдруг встрепенулась от голоса сочувствующего. Это очень натурально» [6. С. 191].

К такой рефлексии, где уже обнаруживается сила возникшего между героями внутреннего притяжения, Круциферскую побудил разговор в городском саду, также отмеченный Никитенко. Описание природы и авторский комментарий к нему создают обстановку, настраивающую на искренний исповедальный тип беседы, как будто приготавливающий читателя к сокровенным словам журнала Любви Александровны. Лирический фон северного пейзажа будит в Круциферской «странный вопрос», который она задает Бельтову: «Отчего человек умеет всем наслаждаться, во всем находить прекрасное, кроме в людях?» [6. С. 181]. Ответ на него подталкивает героя к философскому раздумью, в котором сказывается недоверие к человеку и рождаемое им чувство одиночества. В этот момент скепсиса и разочарования в Бельтове ярко проявляются следы печоринского «наследия», и Никитенко подчеркивает развернутое рассуждение отчужденной и обреченной романтической личности: «Мы вносим в наших отношениях с людьми заднюю мысль, которая тотчас убивает самой дрянной прозой поэтическое отношение. Человек в человеке всегда видит неприятеля, с которым надобно драться, лукавить и спешить определить условия перемирия. Какое ж тут наслаждение? <...> и оттого нам так легко, так свободно в одиночестве; тут совершенно отдаемся впечатлениям; пригласите с собой самого близкого приятеля, и уже не то» [6. С. 181].

Журнал Круциферской воссоздает историю разбитых судеб героев, основой которой стали семейная драма и трагедия любви. Оставаясь верным своему интересу, Никитенко не отмечает в исповеди героини практически ничего, что касалось бы проблематики домашнего мира героев, хотя во второй главе второй части романа он подчеркнул авторскую характеристику целого поколения в отношении семьи: «...мы нашу семейную жизнь не умеем перетаскать через порог образования, и еще замечательнее, может быть, что, остывая к семейной жизни, мы не пристаем ни к какой другой; у нас не личность, не общие интересы развиваются, а только семья глохнет» [6. С. 131]. Но даже если критик не делает прямого и явного акцента на пошатнувшееся счастье дома Круциферских, от него не могло уйти понимание того, что они, по концепции автора, должны были сначала представить удивительное исключение из общего правила «остывшей семейной жизни», а затем полностью его оправдать. Поэтому даже те места в дневнике Любви Александровны, что Никитенко выделяет карандашом, хотя и косвенно, но неизбежно (благодаря всепронизы-

вающей логике авторского письма) указывают на произошедшие изменения в семье гимназического учителя.

На первом плане для критика стояли само появление Бельтова в этом счастливом кругу и его действительное влияние прежде всего на сильную женщину, оказавшееся глубоко взаимным. Это внимание идет еще от той его пометы, где он обращается к объяснению между двумя героями, моменту только произошедшего рокового признания:

«Вы ужасный человек, — промолвила, наконец, бедная Круциферская и подняла робкий взгляд на него.

Он выдержал этот взгляд и спросил...» [6. С. 185].

«Ужасным человеком» Бельтов назван потому, что требует от Любови Александровны ответного слова в подтверждение чувства, не ощущая пока того, что негласно взаимность уже возникла. Непонимание этого Никитенко дополнительно акцентирует подчеркиванием союза «и», чем психологически тонко угадывает намек на будущую драму. В этом штрихе — проницательность критика, прочитывающего авторское указание на гордую и слепую увлеченность в характере Бельтова. «И спросил» — это эгоизм героя, который вдруг, не дождавшись знака явного торжества, переносится из сферы любви в обыденность: «Куда это Семен Иванович запропастился?» [6. С. 185]. Неуместность вопроса задела Круциферскую, но здесь он не приобретает силу того горького и безнадежного разочарования, каким обернется слово «покориться» для Натальи Ласунской в романе Тургенева — трагический исход всей истории Герцен пока отсрочивает.

Никитенко следит за тем, как автор развивает драматическую линию своего романа, он подчеркивает в записях Любови Николаевны возникшую у нее потребность вновь и вновь сравнивать Бельтова со своим мужем и, как следствие этого, ее разочарование в последнем: «Я искренно люблю Дмитрия; но иногда душа требует чего-то другого, чего я не нахожу в нем» [6. С. 191]. И на этой же странице критик отмечает новые требования, какие предъявляет к Круциферской ее пробудившееся под влиянием Бельтова самочувствие, что вновь ставит бедного учителя в невыгодное положение: «...душа ищет силы, отвагу мысли, отчего у Дмитрия нет этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслью?» [6. С. 191].

Словно вырвавшаяся из многолетнего заточения в темной глуши душа героини начинает метаться в вихре надежды на ускользающую возможность жить по-прежнему и отчаянья от сознания недопустимости и своего нежелания этого. На этих страницах журнала Никитенко фиксирует состояние растерянности, беспомощности и одиночества Круциферской в открывшемся ей большом мире: «Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он, точно щепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с водой, куда случится, — прибьет к берегу, унесет в море или увязнет в тине... Скучно и обидно!» [6. С. 192].

«...теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталь. Хотелось бы много поговорить от души. Как весело говорить, когда нас умеют верно, глубоко понимать и сочувствовать» [6. С. 192].

Круциферская еще пытается найти для себя место между страстью растущего чувства и иллюзорной, очевидно утопической надеждой не только склеить обломки прежней жизни, но и выстроить с их помощью новое счастье. Все эти моменты последовательно отмечает в своем чтении Никитенко: «Может ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоения, блаженства?» [6. С. 193]; «Как мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, наш маленький кружок из четырех лиц; кажется, и доверие взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы делаем уступки, жертвы, не договариваем» [6. С. 194].

Особенно значимым для критика оказался момент трезвого признания Круциферской свершившихся в ней изменений с появлением Бельтова, на полях он проводит две параллельные линии ногтем и перечерчивает их еще одной. Этим знаком отмечен большой фрагмент текста, где героиня дает самой себе отчет: «Я много изменилась, возмужала после встречи с Вольдемаром», а в качестве вывода здесь почти победно звучат слова, которые Никитенко дополнительно отчеркнул карандашом: «да! он прав – и его любовь имеет права» [6. С. 195]. Но этот вывод лишен окончательности, так как сама Круциферская во всем теряет твердую опору, для нее исчезают полная уверенность в движении жизни и однозначность чувства, а на их место становятся положения двойственные и несовместные, что, конечно, не ускользает от чуткого читательского взгляда критика, подчеркивающего главную антиномию: «Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара» [6. С. 196]. Показательно, как и далее Никитенко самостоятельно выстраивает в хронике журнала моменты довлеющего противоречия. Например, отчеркивает два отрывка, в которых проявлено одно и то же чувство женского сострадания, но касающееся двух разных лиц – сначала Бельтова («Ему тяжело. Он обманывает себя, он очень невесел. Неужели я, вместо облегчения, принесла новую скорбь в его душу?») [6. С. 193], а затем Круциферского («Последнее время Дмитрий особенно не в духе: вечно задумчив, более обыкновенного рассеян; у него это есть в характере, но страшно, что все это растет; меня беспокоит его грусть, и подчас я дурно объясняю ее») [6. С. 195]. Но при этом Никитенко отмечает и собственное достоинство героини, ясное сознание ею того, что на ней вины нет: «А, между тем, совесть моя чиста» [6. С. 195]. Отсутствие сожаления или тяги к раскаянию она для себя далее отмечает не раз, но критик, вероятно, утвердился в ее честности и правоте с самого начала и потому не посчитал нужным снова подчеркнуть: «у меня совесть покойна» [6. С. 198].

В качестве этического и умственного итога всем перипетиям мысли Курциферской, нашедшим отражение в ее журнале, Никитенко отмечает запись, в которой звучит уже реальная оценка своего положения и отказ от иллюзии гармоничной жизни втроем: «Мне сегодня пришло в голову, что самоотверженной любовью – высочайший эгоизм, что высочайшее смирение, что кротость – страшная гордость, скрытая жестокость» [6. С. 197]. Подобный крах «самоотверженной любви» постиг и учителя, который в момент прозрения «решился на гигантский подвиг – на беспредельное жертвование собою», но не выдержал и «пал под бременем такой ноши»

[6. С. 202]. Акцентируя отрезвление Круциферской, Никитенко в содержание ее мыслей вносит от себя одно дополнение. Оно касается гордой природы человека, склоняющей его ко лжи и самообману. Критик вписывает слово: «скрытая» в сочетание «страшная гордость», что не столько соотносится с конкретными героями, сколько переходит уже в план общечеловеческий.

Последняя помета Никитенко в дневнике Круциферской касается финальных слов ее исповеди, выражающих глубокую тоску и усталость от непонимания окружающих, которые (в противоположность Мефистофелю) действуют во благо, но приносят лишь страдание: «Участие людское оскорбительнее людского холода... Дружба считает лучшим правом своим привязать друга к позорному столбу... потом требовать исполнения советов... как бы они ни были противны тому, которому советуют... Ах, как все это мелко! Фу, душно, как в маленькой комнатке, когда все окна закрыты, да еще мухи летают!...» [6. С. 199].

Образ душевной тесной комнаты, возникающий в сознании героини, выражает предел душевного изнеможения, но не только вследствие испытаний чувств и семейного несчастья, а в большей степени от открывшегося неприятия внешнего мира: «все окна закрыты, да еще мухи летают» – это символ вышедшего за границы обыденного существования и потерявшего «щит идеализма» самоощущения, которое теперь резко чувствительно ко всему материальному, т.е. чужому слову и взгляду (всё равно – сочувствующему и понимающему или осуждающему и насмешливому). В нем Никитенко находит и своеобразный ответ на поставленный автором здесь же странице, через несколько строк ниже, и отмеченный читателем вопрос: «Повесть наша, собственно, кончена; мы можем остановиться, предоставляя читателю разрешить: кто виноват?» [6. С. 199]. Критик с полным правом мог бы подписаться под словами Н.Н. Страхова, писавшего четверть века спустя, что «на вопрос: кто виноват? – роман отвечает: сама жизнь, самое свойство человеческих душ...» [16. С. 374]. Именно такая позиция Никитенко прослеживается во всей логике его чтения, но при этом свою симпатию он, безусловно, отдает именно личности почти байроновского склада. В этом смысле, например, очень симптоматична его остановка на «романтическом» свойстве характера Бельтова, прямо заявленном автором в начале второй части романа – в косвенной речи Круциферской: «...внимательный человек понимал, что внешнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту светлую натуру, насильственно втеснили ей мрачные элементы» [6. С. 176]. На той же ноте и завершается читательская рефлексия Никитенко относительно образа главного героя. Последними двумя подчеркиваниями критик, во-первых, снимает с него очевидные обвинения, которые сгоряча и от глубокой обиды произносит Крупов («...вы сделали разом четырех несчастных. <...> А, может, вам это ничего с высшей точки зрения?» [6. С. 213]), а во-вторых, акцентирует необходимость сострадательного снисхождения к герою, поддерживая его вопрошательный ответ на негодование доктора: «Вы прямо спросите, зачем я живу вообще?» [6. С. 213].

Пристальное внимание Никитенко к герою романтического склада отодвинуло для него на задний план все остальные образы, за исключением Круциферской, чье восприятие также, в понимании критика, подчинено раскрытию главного характера. На протяжении всего романа он не проявил особенной заинтересованности ни к судьбе разночинца, учителя гимназии, ни к «медицинскому материализму» доктора Крупова, ни к галерее провинциалов – чиновников и помещиков, наконец, ни к идеализму женева Жозефа. Имя последнего привлекло Никитенко лишь однажды и в связи с главным объектом его изучения – проблемой личности Владимира Бельтова. Он подчеркивает отрывок, в котором воспитатель предостерегает своего подопечного от опасности чрезмерного увлечения «большой историей»: «Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое несовершенство наше, отчасти неуважение к самому себе, которые приводят человека в зависимость от внешней обстановки» [6. С. 175]. Скромный руссоист, который сам же и развил в Бельтове эту «жажду» великой деятельности, приходит к такому выводу после десяти лет собственных скитаний по Европе. Но это наставление звучит слишком поздно, тридцатилетний юноша уже не может не «выступать на первый план» и довольствоваться малым, тем более что, как замечает автор, дверь, «через которую входят гладиаторы» [6. С. 127], для него закрылась – и Никитенко отмечает этот неутешительный для героя итог.

Помимо помет содержательного характера, критик оставил на страницах «Кто виноват?» замечания «рядового» и редакторского чтения. Так, он выделяет не очень удачное использование слова «утро» во множественном числе: «Знаю то, что целые утры я проводил в детском нетерпении, в болезненном ожидании вечера» [6. С. 182]. Или задает автору вопрос об уместности некоторых черт описания города NN: в тексте о том, как «изнуренная работница с коромыслом на плече» «поднималась в гору по гололедице» [6. С. 122], подчеркнуто слово «босая», а на полях напротив этого места записано: «Зимой?». Наконец, личным опытом продиктована заметка о семье дубасовского предводителя дворянства, родительскую часть которой Герцен иронически выставляет как передовую представительницу русской «эмансипации»: Никитенко ставит карандашом знаки «?!» напротив рассуждения автора в продолжение общей характеристики помещика и его жены: «Да и притом, как ни толкуй, а дочерей надобно замуж выдавать, они только для этого и рождаются» [6. С. 151].

Таким образом, материалы библиотеки петербургского профессора – «Письма об изучении природы» и роман «Кто виноват?» со следами читательской рефлексии позволяют установить важные точки схождения между Никитенко и Герценом (а также во многом и Белинским) периода 1840-х гг. Прежде всего, это общность диалектического взгляда на современность и действующего в ней человека. Для критика и писателя была важна двусоставность проводимого анализа, заключавшаяся в обязательном сохранении для художника гуманистического пафоса даже при открытии самых неприглядных сторон жизни.

Пометы Никитенко на «Письмах об изучении природы» раскрывают его философское единомыслие с их автором, задачей которого было примирение противоположностей и объединение их в общей цели развития знания (научного, с одной стороны, и эстетического – с другой). Чтение «Писем...» подготовило Никитенко к восприятию романа, где он увидел свершение тех же стремлений Герцена уяснить сущность объявших человека противоречий, объяснить их исторически и с позиции современного общества. Признавая писателя в качестве представителя «натуральной школы», критикующего в безусловной иронии нравы провинциальной России, Никитенко одновременно оценил в нем широту взгляда на проблему личности как сложного феномена, тесно взаимосвязанного с условиями своего появления и развития.

Вдумчивое и сочувственное внимание к образу Бельтова как герою времени, который обладает «жаждой деятельности», но не находит своего призвания, продиктовано демократическими симпатиями критика. Однако в этой чрезвычайной заинтересованности Бельтовым Никитенко проявил и черты своего романтического идеализма, оценившего в авторской манере типизации преимущественно внимание к «лишнему человеку» – личности, которая отразила драмой своей судьбы историю поколения. То, что он остался равнодушным к судьбе разночинца и мирного идеалиста Дмитрия Круциферского, вероятно, говорит о его отказе видеть в этом герое перспективу дальнейшего развития, которую Герцен, однако, наметил. При этом бесспорной заслугой Никитенко оказалось его внимательное отношение к женскому образу, играющему исключительную роль в становлении «русского ума». Журнал Круциферской рассмотрен им как своеобразный вариант социально-психологического романа о судьбе героев, пробужденных к новой жизни и гибнущих в условиях русской действительности. Так Никитенко словно предугадывал появление большой прозы Тургенева.

Список источников

1. Герцен А.И. Собрание сочинений : в 30 т. М. : АН СССР, 1961. Т. 22. 513 с.
2. Никитенко А.В. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым // Библиотека для чтения. 1846. Т. 75, кн. 1, отд. 5. С. 13–54.
3. Никитенко А.В. Дневник : в 3 т. Л. : ГИХЛ, 1955–1956.
4. Санкт-Петербургские ведомости. 1870. Янв. № 13.
5. ОРКП НБ ТГУ. Инв. № 20862 // Искандер [Герцен А.И.]. Письма об изучении природы. СПб., 1845–1846. Разд. паг.
6. ОРКП НБ ТГУ. Инв. № 20810 // Искандер [Герцен А.И.]. Кто виноват?: роман : в 2 ч. СПб., 1847. 222 с.
7. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений : в 13 т. М. : АН СССР, 1953–1958.
8. Никитенко А.В. Речь о современном направлении русской литературы // Современник. 1847. Т. 1, № 1, отд. II. С. 53–74.
9. Никитенко А.В. О происхождении и духе литературы. Вступительная лекция российской словесности. СПб., 1833. 52 с.
10. Никитенко А.В. Речь о необходимости теоретического или философского исследования литературы // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. № 3. С. 524–548.

11. Никитенко А.В. Мысли о реализме в литературе // Журнал Министерства народного просвещения. 1872. Янв. Ч. 159. С. 1–56.
12. Гинзбург Л.Я. «Былое и думы» Герцена. Л. : ГИХЛ, 1957. 372 с.
13. Манн Ю.В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 241–305.
14. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений : в 4 т. М. : ГИХЛ, 1958. Т. 4. 594 с.
15. Никитенко А.В. О творящей силе в поэзии, или О поэтическом гении. СПб., 1836. 41 с.
16. Страхов Н.Н. Литературная критика. СПб. : РХГИ, 2000. 464 с.

References

1. Herzen, A.I. (1961) *Sobranie sochineniy: v 30 t* [Collected works: in 30 volumes]. Vol. 22. Moscow: USSR AS.
2. Nikitenko, A.V. (1846) *Peterburgskiy sbornik, izdannyy N. Nekrasovym* [Petersburg collection published by N. Nekrasov]. *Biblioteka dlya chteniya*. 75 (1). pp. 13–54.
3. Nikitenko, A.V. (1955–1956) *Dnevnik: v 3 t* [Diary: in 3 vols]. Leningrad: GIKhL.
4. *Sankt-Peterburgskie vedomosti*. (1870) January. 13.
5. Research Library of Tomsk State University. No. 20862 (1845–1846). *Iskander [Gertsen A.I.] Pis'ma ob izuchenii prirody* [Iskander [Herzen, A.I.]. Letters on the Study of Nature]. Separate pagination. Saint Petersburg.
6. Research Library of Tomsk State University. No. 20810 (1847). *Iskander [Gertsen A.I.] Kto vinovat? Roman: v 2 ch* [Iskander [Herzen, A.I.] Who Is to Blame? A Novel: In 2 Parts]. Saint Petersburg.
7. Belinskiy, V.G. (1953–1958) *Polnoe sobranie sochineniy: v 13 t* [Complete Works: in 13 vols]. Moscow: USSR AS.
8. Nikitenko, A.V. (1847) Rech' o sovremennom napravlenii russkoy literatury [Speech about the modern direction of Russian literature]. *Sovremennik*. 1. (1). pp. 53–74.
9. Nikitenko, A.V. (1833) *O proiskhozhdenii i dukhe literatury. Vstupitel'naya leksiya rossiyskoy slovesnosti* [On the origin and spirit of literature. Introductory lecture of Russian literature]. Saint Petersburg: N. Grech.
10. Nikitenko, A.V. (1837) Rech' o neobkhodimosti teoreticheskogo ili filosofskogo issledovaniya literatury [Speech about the need for a theoretical or philosophical study of literature]. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya – Journal of the Ministry of National Education*. 3. pp. 524–548.
11. Nikitenko, A.V. (1872) Mysli o realizme v literature [Thoughts on Realism in Literature]. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya – Journal of the Ministry of National Education*. 159. pp. 1–56.
12. Ginzburg, L.Ya. (1957) “Byloe i dumy” Gertsena [“The Past and Thoughts” by Herzen]. Leningrad: GIKhL.
13. Mann, Yu.V. (1969) *Filosofiya i poetika “natural'noy shkoly”* [Philosophy and Poetics of the “Natural School”]. In: Stepanov, N.L. & Fokht, U.R. (eds) *Problemy tipologii russkogo realizma* [Problems of the Typology of Russian Realism]. Moscow: Nauka. pp. 241–305.
14. Lermontov, M.Yu. (1958) *Sobranie sochineniy: v 4 t* [Collected works: in 4 volumes]. Vol. 4. Moscow: GIKhL.
15. Nikitenko, A.V. (1836) *O tvoryashchey sile v poezii, ili O poeticheskom genii* [On the creative force in poetry, or On the poetic genius]. Saint Petersburg: A. Smirdin, I. Glazunov i K°.
16. Strakhov, N.N. (2000) *Literaturnaya kritika* [Literary criticism]. Saint Petersburg: Russian Christian Humanitarian Institute.

Информация об авторах:

Волков И.О. – канд. филол. наук, старший научный сотрудник лаборатории «Компаративистика и имагология» Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: wolkoviv@gmail.com

Жилякова Э.М. – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: emmaluk@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Ivan O. Volkov, Cand. Sci. (Philology), senior researcher, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wolkoviv@gmail.com

Emma M. Zhilyakova, Dr. Sci. (Philology), professor, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: emmaluk@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 21.04.2021;
одобрена после рецензирования 11.04.2022; принята к публикации 04.05.2022.*

*The article was submitted 21.04.2021;
approved after reviewing 11.04.2022; accepted for publication 04.05.2022.*